

Сергей  
Лебедев

CoRpus

18+

Рассказы

Русский Corpus

Сергей Лебедев

**Титан**

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Лебедев С. С.**

Титан / С. С. Лебедев — «Издательство АСТ», 2023 — (Русский Corpus)

ISBN 978-5-17-152197-4

Когда совершено зло, но живые молчат, начинают говорить мертвые – как в завязке “Гамлета”, когда принцу является на крепостной стене дух отравленного отца. Потусторонний мир, что стучится в посюсторонний, игры призраков – они есть голос нечистой совести минувших поколений. “Титан”, первый сборник рассказов Сергея Лебедева – это 11 историй, различных по времени и месту действия, но объединенных мистической топографией, в которой неупокоенное прошлое, злое наследие тоталитарных режимов, всегда рядом, за тонкой гранью, и пытается свидетельствовать голосами вещей, мест, зверей и людей, взыскуя воздаяния и справедливости. Книга содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-152197-4

© Лебедев С. С., 2023  
© Издательство АСТ, 2023

# Содержание

Предисловие	6
Судья Желудков	7
Антонов огонь	18
Обелиск	24
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# Сергей Лебедев

## Титан

© С. Лебедев, 2023

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Издательство CORPUS ®

\* \* \*

## Предисловие

Я помню последние годы советской империи. Помню, хотя и был ребенком, стихийное и повсеместное, внезапное, как извержение вулкана, явление мистических настроений.

Ощущение близящегося конца эпохи всегда пробуждает к жизни мистику. Но Советский Союз был государством атеистическим, построенным на доктрине материализма. Советская идеология – во всяком случае, на словах – предполагала рациональный взгляд на мир, и единственным призраком, допустимым в ее координатах, был “призрак коммунизма”, о котором заявили в XIX веке Маркс и Энгельс.

И тем удивительнее, как быстро явился другой, потусторонний мир, представляющий собой “изнанку” советского сознания; темный чулан, где сохранилось все вытесненное, выброшенное, вычеркнутое из жизни и памяти за семьдесят лет коммунистического правления. Новый мистический фольклор возникал буквально на глазах, из самого воздуха эпохи.

Говорили о недобрых местах, об аномальных *зонах*, где нарушены физические законы. О странных существах, о *барабашках*, что живут в домах, в квартирах и преследуют непонравившихся им жильцов, стучат, шумят, меняют местами предметы. О детях, которые рождаются с характерными родимыми пятнами на теле – если их предки были расстреляны.

Сознание людей искало образов, искало языка для описания трагедии – и прибегало к мистическим аллюзиям, которые делают злое прошлое реальным – и одновременно отчуждают его, делают объектом иного мира, иной реальности.

Что ж, призраки действительно не рождаются сами по себе. Их порождает молчаливая совесть. Двоение моральной оптики. Они реальны настолько, насколько реальны вытесненные знания о преступлениях и отказ от принятия настоящей ответственности. Они – искаженный, претворенный в мистических образах голос ушедших. Голос непрошенных свидетелей.

Фактически все время своего существования советское государство уничтожало людей – и уничтожало всякую память об уничтоженных. При этом в архивах государственной безопасности до сих пор хранятся миллионы архивно-следственных дел. Миллионы выдуманных обвинений. Миллионы лживых допросов, построенных по единому художественному канону: от отрицания к признанию несуществующей вины.

Эти дела, этот метатекст со своими стандартными сюжетами и жанрами – может быть, главное и страшное российское произведение XX века. Свидетельство зла, остающееся непрочитанным.

## Судья Желудков

Судья Желудков приехал на дачу в пятницу вечером, сразу после затянувшегося заседания.

Пробки в городе, пробки на выезде, пробки на шоссе. Красное марево стоп-сигналов. Мелкий косой дождик, заливающий в форточку, когда куришь. Трасса, по которой он ездил еще ребенком, рядом с отцом, на переднем сиденье, знакомая каждым поворотом, каждой туманной низиной. Полос теперь две в каждую сторону, а местами и три, вместо светофоров – бетонные петли развязок, вместо лесов – угловатые башни многоэтажек, новые районы. Но это его дорога, накатанная, наезженная. Сколько мыслей передумано на скорости, сколько схем и комбинаций составлено! Но сейчас, когда важнейший, годами отшлифованный план почти осуществился, дорога вдруг выкинула неприятный фортель: его машину с судейскими номерами, с пропуском-вездеходом на лобовом стекле остановил дорожный полицейский.

Новичок, салажонок, не разобрался. Напарник отругал младшего, подобострастно извинился перед Желудковым, пожелал доброго пути. Но осадочек остался. И судья разозлился, представил, что через месяц-другой у него будет служебная BMW с мигалкой, и тогда никакая сволочь не посмеет... А ведь надо записать фамилию и завтра позвонить его начальству, подумал Желудков. Как он там представился? Музин? Кузин? Зюзин? Фамилия не вспоминалась, словно оставшийся на посту сержант чувствовал попытки судьи и всеми силами старался увернуться. Желудков так и не вспомнил и потому приехал раздраженный.

Вечер был ранний, стылый. Сразу захотелось в баньку, в парную, на горячий липовый полчок. Желудков пораздумывал пару секунд – и с сожалением отказал себе. Завтра ведь будут гости. Особые гости. Андрей Порфирьевич не любит, когда баня сырая со вчерашнего.

Конечно, он уже мог бы поступить как хочет. Одобрение его кандидатуры состоялось. Он сегодня выполнил свою часть сделки, вынес нужное решение, отказ в рассмотрении дела по существу. Но Желудков привык перестраховываться и не спешить.

Багажник машины был полон еды и спиртного. Желудков выучил вкусы всех четверых гостей и помнил нюансы, например, что Андрей Порфирьевич любит оливки исключительно испанские, зеленые, фаршированные острым перцем, – и знал, что все четверо, будучи выше его по положению, не сочтут его предусмотрительность за попытку выслужиться, встать на задние лапки. Потому и ценят, что он ничего не упускает.

“Заместитель председателя Верховного суда”, – произнес Желудков вслух, смакуя слова – здесь, на даче, никто не услышит, не увидит его самолюбования. Вопрос решен. Завтра его назначение обмолвят, утвердят звоном рюмок, отпразднуют между ведомствами, Матицын из Генеральной прокуратуры, Воронов из Федеральной службы безопасности, Головкин – из Военной Коллегии, Лаппо – первый заместитель председателя Верховного суда, наследник, преемник, это уже известно... Все они учились на юридическом. Лаппо – на три курса старше. Приятельствовали, разошлись. А потом вновь встретились три года назад – из-за того дела, в котором Желудков сегодня поставил точку.

Желудков приметил это дело загодя, задолго до того, как оно поступило в Верховный суд, поднялось на апелляциях из судов низших инстанций. Он имел своих людей на земле, в некоторых областных и городских судах, сообщавших ему о перспективных процессах. Внимательно читал газеты, присматривался, приценивался.

Свое судейское влияние он скопил именно так – умея уклониться от дел бесперспективных, лавируя, маневрируя, чтобы перехватить дела, на которых *растут*. Дела не обязательно денежные, скорее даже наоборот: мощну не набьешь, борзых щенков от сторон процесса не получишь. Но, если сделал все верно, тебя не забудут. Только такие дела и ведут на самый верх.

Нынешнее дело Желудков взял на карандаш, прочитав статью в федеральной газете. Речь шла всего-то о районном суде, об отказе в эксгумации и анализе ДНК. Глубокая провинция, местные сюжеты. Но он тут же оценил, кто запрашивал вскрытие. Кто, собственно, и когда был убит. Понял, какие силы в игре: органы безопасности, дипломаты, Администрация Президента. Догадался, что дело наверняка дойдет до Верховного суда, истцы не остановятся. И кандидатуру судьи наверняка будут согласовывать с ФСБ.

Он мысленно взвесил дело. Прокрутил все обстоятельства в голове. И осознал: если дело попадет на рассмотрение лично ему, то, с учетом всех предыдущих заслуг, оно обязательно принесет кресло Заместителя Председателя.

Дело еще только буксовало в судах нижних инстанций, а Желудков уже готовился. Поговорил с кем надо, чтобы точно знать, куда дуют политические ветры. Подмаслил одних. Подбросил пару-тройку размышлений другим. Третьим дал понять, что он-то как раз не хотел бы получить это дело, слишком оно опасное, на таких карьеры ломаются. Четвертым вежливо напомнил про давние обязательства. И в итоге дело само приплыло ему в руки, легло на судейский стол десятками томов. Пост Заместителя ему гарантирован, на это намекнули и Воронов, и Лаппо; важно только все сделать точно.

А вот с точностью пришлось повозиться. За три года большая политика менялась троекратно. И трижды Желудков был вынужден целиком перекраивать судейскую линию.

Сначала склонялись к компромиссному варианту, к частичному признанию ответственности Советского Союза, к тому, чтобы квалифицировать как “убийство по предварительномуговору” и сослаться на истекшие сроки давности. То есть отфутболить – но мягко.

Потом, после юбилейной речи чужого президента, потребовалось ужесточение: полный отказ от ответственности, но обставленный все-таки дипломатично.

А третья, уже после размещения американских войск, директива была – ответить асимметрично, “харкнуть им в рожу”, как сказал Лаппо. И именно Желудков придумал, как соблюсти хотя бы минимальную видимость юридической процедуры – и нанести тяжелейшее оскорбление.

За три года Желудков привык к тому, что у него по делу проходят тысячи потерпевших. И все они много лет как мертвы. Расстреляны НКВД за три дня в пригородном сосновом лесу. Иногда он даже испытывал неофициальный, ненужный интерес к ним, к чужим мертвецам, чужим офицерам, превратившимся в смерти в одно целое, в человеческий пласт; оставившим после себя архивные залежи: приказы о передислокации лагерей, поезлонные списки, расстрельные списки...

Желудков знал, что судья должен ограждать, охранять себя. И от обвиняемых, и от потерпевших. Не ради справедливости, торжества права, нет. Смешно даже думать такое. Ради себя самого.

Судейские – узкая каста. Закрытый круг со своими понятиями, историей, фольклором, знаниями, что не выходят наружу, не рассказываются чужим... Прокуроры, полиция, госбезопасность, Администрация Президента – они знают многое, отдают негласные приказы судьям, согласовывают сроки наказаний и думают наивно, что варятся в том же самом соку.

Но приговаривает-то все-таки судья! И у судей свое разумение, тайное искусство, какого не найти ни в одной книжке. Одно и то же и для правого приговора, и для неправого. Судья пишет чужую судьбу. И судья должен уметь закрыться от *отдачи*. Этому не учат на юридическом факультете. Это приходит даже не с опытом, а с мудростью.

Желудков умел выносить решение, не вкладывая душевных сил. Приговаривать – как бы не приговаривая лично. За него судили судейский стол, тома законодательства в шкафах, черная чугунная статуэтка каслинского литья, служащая пресс-папье: прицеливающийся с колена солдат в папахе, с шинельной скаткой через плечо; судили графитовый карандаш, которым он



правил черновики, само огромное здание суда, его люстры, лестницы, коридоры; хрустальная помутнелая пепельница, и, самое главное, – мантия.

Иные, молодежь, недоумки, меняли мантии чуть ли не каждый год, заказывали новые, лучшего материала, уносили домой, вешали в одном шкафу с обычной, мирной, повседневной одеждой – простофили, что с них взять! Мантия Желудкова висела в его рабочем кабинете в специальном шкафчике, отдельно от уличной одежды. Уходя домой, он запирает ее на ключ и говорит тихо:

– До свиданья, господин судья.

И он никогда, никогда до нынешнего странного дела не позволял потерпевшим забраться к себе в голову. А *эти*, хотя Желудков и был настороже, все-таки пробрались. Набились в черепушку, как в вагон столичного метро в час пик.

Он бы сдюжил против нескольких десятков. Может быть, против сотни. Но против тысяч... Его победила сила больших чисел. А он, раззява, проשляпил, не догадался заранее, что в загробных делах количество тоже имеет значение, и какое!

Их же вроде бы *нет*, офицеров чужой страны, взятых в плен в тридцать девятом году на давней короткой войне и расстрелянных по приказу Вождя. И какая разница, скольких нет: одного или многих тысяч? Нет ведь и нет. Нет – слово резкое, конечное. Но, получается, они как бы и есть: у Желудкова в мыслях.

Один только раз заглянул в лагерные личные дела. Уточнить нужно было один вопрос, имеющий процессуальное значение. Всего десяток дел просмотрел, анкетные данные почитал, любопытно же стало, фотокарточки поизучал, лица как лица, про некоторых и не скажешь, что поляки, иностранцы, значит...

И стало ему сниться, что входит он в зал судебных заседаний, выносить приговор по *их* делу, садится в кресло свое знакомое, поднимает глаза в зал, где сидят уже публика: журналисты, дипломаты, родственники, агентура подсадная, – и видит, что сидят на стульях мертвецы в мундирах своих истлевших, в фуражках помятых. Молча сидят. Ожидают, что он, судья, скажет.

Желудков не испугался. Не поплыл. Не пошел к врачам: донесут Лаппо или Воронову, и его выведут из дела и спровадят в отставку по состоянию здоровья. Он научился спать, приняв таблетки, без сновидений. И вынес финальный отказ в рассмотрении дела.

Потомки расстрелянных офицеров хотели, чтобы убитые были официально реабилитированы.

Отказать можно было по-разному. И он, имея от Лаппо указание “харкнуть”, припомнил покойникам свои беспокойные сны. Придрался к процессуальным тонкостям, к статусу граждан несуществующего уже довоенного государства, к отсутствию полномочий у иностранных представителей. И вынес нарочно перемудренное, запутанное решение, из которого в сухом остатке следовало, что обратиться с заявлением о реабилитации могли бы только сами потерпевшие.

– А как нагрянут к тебе покойнички, – отсмеявшись, пошутил Лаппо, когда Желудков еще до заседания прочитал ему проект. – Не боишься?

– Они заявление не смогут написать, – назидательно сказал Желудков. – Они же мертвые. Лаппо хохотнул еще раз и поставил визу на проекте.

Ну и физиономии были у родственничков в зале, когда посольские переводчики растолковали им решение суда! Проняло! Дух вышибло вон! Ни вякнуть, ни пискнуть. За таблетками в карманы, в сумочки тянутся, лицо руками закрывают.

Что ж, свое законное с них Желудков получил. Мзду взял этими всхлипами, за сны дурацкие рассчитался.

И только седовласая старуха, мумия, просидевшая все заседание в кресле-каталке, поглядывавшая по сторонам с беспокойной, опасливой грацией синицы, вскочила, затрясла сухими кулачками и закричала на ихнем языке.

Желудков позволил ей выкрикаться. Не звать же приставов, еще хуже выйдет. Он смотрел на нее, не пряча взгляд, показывая, что не боится, что различает строгость закона и уязвимость чувств, и способен чувства уважать. Ему казалось, что он узнает ее. Время, умертвившее плоть, проявило в ее лице черты отца, кавалерийского офицера, что, единственный из пленных того лагеря, бросился на исполнителей.

Ей же лет сто, подумал Желудков. Он подсознательно опасался долгожителей. Зачем она прожила так долго? Чтобы что?

Желудков прислушался. Его ударило вибрирующим, многоголосым женским криком, будто кричали разом все те женщины, которыми старуха когда-то была.

Желудков понял.

Старуха, сука драная, заранее знала, что приехала в суд – умереть. Думала уйти по благодати, узнав, что реабилитация состоится. А сейчас она превратила силу своей смерти в проклятие.

Холодный пот побежал по спине под мантией. И Желудков подметил отстраненно, что слишком он обильно потел на этом процессе. Аж мантия начала расползаться, ветшать, словно на нее перешла порча с истлевшей одежды расстрелянных, с кальсон их и рубаш. А старуха запрокинулась, сползла спиной с кресла-каталки и выдала напоследок такой звучище – будто завывало раненое животное.

Желудков велел помощнику вызвать скорую. И со скорбным достоинством попросил журналистов и посетителей покинуть место непредвиденной трагедии. Пообещал, что на следующей неделе суд сделает специальное заявление. Фотокоры успели шелкнуть всего пару кадров.

Он сделал как надо. У любого другого все пошло бы наперекосяк, случился бы скандал, пресса и телевизионщики, шакалята, порезвились бы. А он их переиграл: подсадные агенты вовремя сориентировались, окружили, заслонили мертвую. Не зря же он столько раз подсадных гонял, инструктировал на случай ЧП, репетиции проводил.

Желудков видел, что Воронов, одетый в штатское, кивает ему из дальнего угла одобрительно, показывает взглядом: молодец, умно. А Желудкову стало вдруг тоскливо, словно не просто подгадила ему старуха, а нажала в его теле какую-то тайную кнопку, вроде тех неприметных точек, куда восточные лекари втыкают свои иглы, у Лаппо как раз был один, мастер, чудотворец, и Лаппо обещал дать после назначения телефончик, там клиентура особая, избранная... Нажала – и запустила отсчет времени. Отсчет гибели.

Желудков нехотя перенес продукты в дом, распихал как придется в холодильник. Он был голоден. Но при этом жевать, глотать, орудовать ножом и вилкой, чувствовать во рту вкус не хотелось. Он стоял у открытой дверцы, рассеянно разглядывая харчи, бревнышки колбас, многогранники сыров, освещенные желтым, масляным, пещерным светом лампочки холодильника.

Это был отблеск юношеских лет Желудкова, когда отец наконец-то выжал, выцганил себе место юрисконсульта в международном отделе ЦК. По сравнению с начальственной должностью в издательстве “Юридическая литература” – вроде бы понижение. А на самом деле – повышение в номенклатурной табели.

Отец, худой, бодрый, вовсе не заправский едок, не ценитель обильной кухни, стал до отказа набивать холодильник лаковыми сервелатами, золотыми, похожими на слитки, брусками первосортного масла, баночками икры, балыками, половинками и четвертинками сырых голов. Это были его трофеи, его поздняя удача. И он хотел, чтобы сын поглощал ее, нае-

дался до отвала, заряжаясь успехом, благом, довольством. А Желудков не мог это, отцовское, есть. Хотя в гостях, за чужими столами, бесстыдно сметал деликатесы. Ему казалось, что у отцовских продуктов неправильный вкус. Не икра, не колбаса, а какой-то целлофан, будто они были муляжами, а не элитной жратвой из спецраспределителя.

Вот так и стоял молодой Желудков однажды вечером у холодильника, выискивая что-нибудь простецкое, вроде рыхлого, слюнявого творожка из обычного гастронома. Зазвонил домашний телефон, и мать, уверенная, что это отец звонит предупредить, что задерживается, взяла трубку. Он почти не помнил ее криков и рыданий. Зато прекрасно помнил, как взял упругую, с поросычьим хвостиком, сардельку и стал жевать ее вместе с веревочкой, потом откусил от сырного клина с овальными дырочками... Он глотал, запоздало принимая отцовское причастие, но не чувствуя вкуса вообще. Даже целлофанового.

Мать так никогда и не поверила в самоубийство, о котором толковала милиция. Но выдумала, ведо́мая защитным инстинктом вдовы, несчастный случай. Жуткое в своей простоте стечение обстоятельств: слишком низкие балконные перила в той, неясно чьей, квартире, отцовское плохое зрение... Юрочка забыл надеть очки, говорила она. Ты же знаешь, какой он без очков. Слепенький, как малыш.

Мать легко отбросила внешние обстоятельства: армейские танки на улицах столицы, неслучившийся переворот, серые лица заговорщиков в телевизоре, ликующие толпы на площадях.

А Желудков все понял. И поразился собственной бесстрастности, вынужденному уважению к правилам большой игры, в которой отец был одной из многих фигур, внезапно, в один день ставших ненужными, слишком много знающими.

Он, выходило, сам навлек свою гибель, добившись перевода в юрисконсульты. Колбаса, икра, балык, бастурма – ему скормили, выдали его смерть по частям, задатком, в долгую рассрочку, а теперь пришло время вернуть долг разом.

Да, мысль о мести была. Он легко отмел ее, объяснив себе, что надо подождать, когда все уляжется. Может, еще будет надлежащее расследование, справедливость – дело долгое...

А потом в институте к нему подошел начальник первого отдела Митрадзе, сухой и нелюбезный обычно старик, чопорно выразил соболезнования. Спросил, не хочет ли Желудков взять академический отпуск: ректорат, учитывая обстоятельства, пойдет навстречу. И Желудков понял, что система жива, хотя государство и рушится. Она устоит, она даже извиняется, и отец выкупил ему будущее. Он может взбрыкнуть, поддаться стихийному чувству, но тогда невольная жертва отца будет напрасна.

– Спасибо, – ответил он Митрадзе, – но я останусь. Учеба отвлекает. Да и отец... Он очень хотел, чтобы я стал юристом. Судьей, – и почувствовал по краткому, будто поплавок дернуло, кивку, что он угадал с ответом, положил в десяточку.

Желудков захлопнул холодильник, вышел на открытую веранду. Под ногами зашуршали свитки дубовых листьев, потянуло по радикулитной спине ледяным лесным ветерком. Он был слишком свеж, этот ветерок, словно в округе больше никто не жил.

Желудков оглядел темные соседские дома. И ощутил, что знакомая с детства местность преображается. Истоптанные дачниками редкие леса, малые лужки, жалкие пруды, неглубокие ложбины, перелески, слабые ручьи, невеликие поля – будто разрослись, сомкнулись, ночь вдохнула в них нечто дремучее, грозное, дикое. Желудков торопливо закурил – и услышал, что где-то неподалеку, не понять где, у него ли, у соседей, – скулит собака.

Ветер унялся.

Собака заскулила громче, а потом начала подвывать. Не выть, а именно подвывать, словно от нестерпимого ужаса, напрудив лужу, забившись в закут, в щель за сараем, дрожа мелкой дрожью.

Этот ночной голос воющей псины показался Желудкову опасно близким к человеческому.

– Сука, – сказал он вслух. – Сука.

И это слово, как пароль, отомкнуло дверь памяти.

Сука. Так не воет кобель. Только сука, мерзавка. Это ее сучье опроостанное нутро, где было потомство, дает эту гадкую ноту. От живота, от чрева, от дойного брюха, сочащегося кровавым молоком, от тварной муки рождения – сука, сука!

...Да, в ту весну под старым домом ошенилась приبلудная дворняга. Приехали на дачу поздно, когда она уже обустроила логово и принесла помет; соседи пожаловались, что собака раскопала у них грядки и проделала лаз под забором.

Отец с матерью решили, что нужно лезть под дом.

Но отец, обычно деловитый, скоропалительный, всех поторапливающий, испытывающий удовольствие от собственной, как он говорил, маневренности, – он проворно, с ловкостью карманного воришки, перенимал, тащил из разговоров, статей, энциклопедий эти военные словечки: *глиссада, абордаж, фланг*, создавая себе ауру мужественности, – почему-то не спешил.

Долго переодевался в рабочее. Принюхивался, не пахнет ли одежда мышами. Менял выдохшиеся за зиму батарейки в фонаре. обстоятельно чистил закишие контакты.

И Желудков, которому только-только исполнилось четырнадцать, вдруг понял, что отец боится. Брезгует и боится. Он умеет только подстегивать, пришпоривать других. А тут не знает, как себя вести. Бродячая псина, жалкое существо, имеет над отцом прямую власть.

Отец послал бы за Мироном, рукастым дачным сторожем, которого всегда звали, если нужно было, скажем, похоронить кошку, вычистить выгребную яму. Но МIRON лежал в больнице – допился зимой. И отец злился и на него тоже, но в первую очередь – на ту щенную суку, которая нарочно выбрала их дом, словно зная уязвимость хозяина.

Желудков испытал тогда острое мстительное чувство. Он увидел, что роли переменялись: собака вынуждает отца действовать, а отец мнется, не решается. Именно в это состояние – раздерганности, неспособности к поступку – отец любил загонять своих жертв, фехтуя иронией. И Желудков был благодарен дворняге за отместку. И благодарен вдвойне, поскольку он впервые ощутил себя способным предсказывать ситуацию и управлять взрослыми.

Он смотрел, как отец стелет на землю взятый с веранды половичок, укладывается на нем основательно, словно он сапер, готовящийся разминировать здание, и осторожно лезет меж столбиков фундамента, вытягивает вперед руку с фонарем. Он знал, что сейчас произойдет.

Сука напала молча, едва не цапнула за руку. Отец выкатился вбок, чуть переигрывая, будто изображал раненого солдата в кино. Невидимая во тьме псина зашлась злющим, надсадным лаем, и Желудков чувствовал, что отец рад этой злобе. Она давала отсрочку: нельзя же соваться туда, где беснуется эта тварь! Едва клыками кисть не прохватила!

Мать прибежала с зеленкой, стала мазать кожу, на которой не было ни царапинки. И Желудков увидел, что они играют дуэтом, играют естественно, почти без сознательного намерения, и так двигаются по жизни, выручая друг друга...

За обедом отец бравировал, шутил про собаку Баскервилей. Говорил, что сука, наверное, скоро уйдет. И уведет щенков. Может, даже к следующим выходным. Не будет же она вечно сидеть под домом? А Желудков представлял, что в понедельник и вторник отец как бы забудет про псину. В среду весело скажет, что она, наверное, уже сбежала. В четверг и пятницу будет хмуриться, нервничать, ругать правление дачного товарищества – почему допустили, что плодятся бродячие животные? Костерить соседей, выбрасывающих кости в компост. Толковать, что надо бы вызвать службу отлова бездомных собак, наверняка же есть какая-то служба!

А потом, в следующие выходные, помается, поерничает и вдруг намекнет: может, ты, сынок, поможешь родителям?

Когда они приехали через неделю, открыли дверь, затопали по половицам, из-под дома не донеслось ни звука. Отец сказал с деланным довольством:

– Победа, товарищи!

– Надо бы потом проверить, – как бы простодушно ответил сын, ошущая хитрую, хищную радость: от ловкости лицемерия, от точности этого “потом”, которое вроде бы давало отцу отсрочку, а на самом деле отравляло ему день. Отец скривился, махнул рукой: мол, успеется. Сам Желудков чувствовал, что щенки здесь, хоть и не слышал их.

Они с отцом вынесли в сад ковры: выбить пыль после зимы. И, словно привлеченная ритмичными хлопками, из-под соседского забора вылезла сука. Побежала, прихрамывая, прячась за кустами, к дому. Отец ее не замечал, она бежала у него за спиной.

Желудков видел ее будто по частям: то одно бросалось в глаза, то другое. Розовый, голый, покрытый гноящимися, сочащимися сукровицей трещинами бок: видно, плеснули кипятком. Обрубленный хвост. Сломанная и криво сросшаяся левая задняя лапа. Обметанные серной коростой глаза. Косой шрам через башку. Репьи и колтуны в остатках грязной шерсти. И – огромное, раздутое, волочащееся по земле, отмеченное красным клеймом ожога, кроващее брюхо. Брюхо с тугими, оттопыренными, как мизинчик, сосцами.

Псина была отвратительна. И Желудков с тайным предвкушением представил, как опешит отец, когда увидит ее на свету.

В их закрытом дачном кооперативе, где живут уважаемые люди, руководящие работники издательства “Юридическая литература”, которые заводят себе приличных, вежливых собак, у которых есть порода, имя и даже ветеринарный паспорт, – и вдруг это чудовище, ублюдок, мерзость! “Почему она не пошла в рабочий поселок у железнодорожной станции, где живут такие же уродливые людишки? Почему явилась именно к нам?” – будет думать отец.

Желудков почувствовал возбуждение, словно в теле аукнулись ритмичные шлепки выбивалки по ковру, разбудив плотские чувства, спавшие всю зиму. Перед глазами у него стояло розовое с красным раздутое вымя, полное молоком.

И он подумал с удивлением: а ведь ее, страшилище, кто-то трахал. Какой-нибудь калека, уродец ей под стать. Или, наоборот, какой-нибудь чинненький, ухоженный домашний кобель, вроде стилиги-ризеншнауцера Мики с шестнадцатого участка. Он представил чистюлю, пижончика Мику с этой – и возбудился еще больше. Он бы их свел, ох, свел, лишь бы увидеть это вживую!

Сука протиснулась в лаз. Под домом запищали щенки. Отец услышал, опустил выбивалку. Сделал вид, что не расслышал и пытается разобраться, не почудилось ли ему.

– Я придумал, что нужно делать, папа, – сказал Желудков. – Надо дожидаться, когда собака уйдет за едой. И отнести щенков куда-нибудь далеко в лес. В корзине. Та, высокая, что для опят, подойдет.

Отец посмотрел на него изумленно, подыскивая и не находя верный иронический финт. А Желудков добавил:

– Я все сделаю сам, папа. Вам с мамой не нужно волноваться.

Родители в тот день немного растерялись и почти залебезили. Повторяли:

– Отнести в лес, да, отнести в лес...

И чем больше повторяли, тем яснее становилось, что это на самом деле означает: отнести в лес.

Конечно, отец и мать не могли сказать впрямую, что щенков нужно убить, иначе сука найдет их по запаху и перетаскает за шкуру обратно под дом. Они оба думали, что сын, мальчишка, и в самом деле предлагает просто бросить щенков где-нибудь вдалеке. И не решались дать подсказку, к примеру, упомянуть как бы невзначай, что в деревнях щенков и котят топят, не миндальничают.

Желудкову было приятно чувствовать их наивность. Он-то все уже решил: и *где*, и *как*.

Сука ушла за пропитанием утром в воскресенье. Наверное, сообразила, что приехавшие из города на выходные обедают и ужинают городскими привезенными продуктами и выбрасывают вечером объедки в компостные ямы. Желудкову нравилось, что он видит теперь эти закономерности и умеет использовать их.

Он помедлил, чтобы собака отошла подальше. Набросил телогрейку, взял фонарь, корзину и полез под дом. Отец и мать встали поодаль, чтобы загородить собаке дорогу, если та вздумает вернуться. Но он понимал, что ничего-то они не успеют, не рискнут даже, хотя мать взяла грабли, а отец – совковую лопату на длинной ручке.

Под домом было сухо и чисто. Желудков-то нарисовал себе в воображении загаженный закут, мерзких, под стать мамаше, грязных и злобных щенков. А щенки были чистенькие, миленькие, вылизанные; шебуршились в тряпье, натащенном с участков. Крупные, глазастые, приветливые. Живые.

От неожиданности он чуть было не струсил. Он ведь рассчитывал на несмышленных, которые вообще не поймут, что с ними делают. Разве что пискнут недоуменно. А вдруг эти смекнут, куда он их несет? Начнут визжать, царапаться? Четверть пути-то идти по дачам...

Желудков тихо рассмеялся. Пузатая плетеная корзина с узким горлом, которую он положил на бок, чтобы было удобнее запихивать щенков, своими плетеными обводами была похожа на охваченную ребрами утробу. Щенки, только недавно вышедшие из живота матери в жизнь, снова оказывались – его волей – в тесном животе корзины.

Это было забавно.

– Ты уж отнеси только подальше, – сказал напутственно отец, так, словно он сам был готов все сделать, а сын буквально выпросил у него право разобраться со щенками.

– Да-да, подальше, – присоединилась мать. – Собаки, они чуткие. Найдет еще.

– Не найдет, – уверенно ответил Желудков, испытывая физическое, схожее с удовлетворением аппетита, удовольствие от того, как легко дается ему прочтение настоящего смысла разговора.

“Подальше, – повторил он про себя. – Подальше!”

Он поднял корзину и пошел, не оборачиваясь, к калитке.

Улица поселка была пустынна. Год за годом Желудков катался тут на велосипеде, играл в прятки с друзьями, а теперь шел будто чужой, нездешний. Он понимал, как странно выглядит в это весеннее утро с большой корзиной, какие достают с чердака по осени, когда в лесах высыпают обильными гуртинами опята. С такими не ходят на рынок. В таких не носят мусор. Любой, кто его увидит, удивится и спросит по дачному обычаю: куда, мол, и за чем послали?

Он пытался придумать на ходу ловкий ответ – и не мог.

Шел и смотрел, как дачники развешивают белье, моют машины, копают грядки. Но никто не обращал на него внимания. И Желудков понял, что напрасно опасается: его намерение делает его невидимым.

Он вышел за околицу, где сосновый редкий лесок, а за ним железная дорога. Миновал лесок, поглядел с тоской на зарастающее кострище и выложенные квадратом куски шпал: тут они с друзьями пекли картошку и пили портвейн в прошлом году, когда родители оставили его на даче одного на неделю. И решительно полез на крутой, заросший иван-чаем, сыплющий щебатовой щебенкой откос железной дороги.

Это была боковая ветка, отстойник для товарняков. Желудков поставил корзину, утер пот. Щенки шевелились внутри, но не тявкали.

Он посмотрел с откоса назад, на пройденный путь, на торчащую вдаль за деревьями крышу дома. Наконец-то он был один. Блестящие линии рельс замкнули Желудкова между собой, стали как перила, как направляющие. Он чуял растревоженный поездами воздух, тяготу

провисших проводов, вертикальное бдение столбов. Светофор вдали, мерцавший красным, переключился на зеленый, словно приглашая идти. Скоро поезд будет, подумал Желудков и поднял корзину.

Шпалы на этой второстепенной ветке лежали вразнобой, идти по ним было неудобно, и ходили обычно сбоку, по гравию. Но Желудков поймал рваный ритм, зашагал и с удовлетворением вспомнил, как просто, естественно он нашел место.

Это был затянутый ряской, заваленный корягами прудик меж двух сходящихся клином железнодорожных веток, с третьей стороны запертый подболоченным лесом.

Всем прудам в скупой на воду округе люди дали имена: Липовка, Глубокий, Семихатка. Только этот никак не назывался. Слишком маленький, грязный, никому не нужный. Никто не ловил там рыбу, не купался, не устраивал посиделок на берегу.

Безымянный прудик пришел ему на ум еще в будни. Крутые откосы, непроходимое болото, густая темная ряска на воде, притопленные коряги – все ожило в воображении, наполнилось смыслом, будто оно для этого и было создано, ожидало жертвы, прикидываясь вонючей бессмысленной лужей. Желудков тогда подумал, что озерцо и в самом деле может хранить на дне кровавую улику, выброшенную из окна поезда, или давний труп.

Желудков шагал. Прогалина пруда уже виднелась справа, за изгибающейся дугой насыпи. Он шел, как бы проверяя свои чувства, забавляясь мыслью, что несет щенков – и ничего особенного не испытывает. Отец мучился бы, и не от жалости к щенкам, а от вечной, скрываемой за иронией неуверенности, что правильно, что нет. А он и в самом деле ничего не чувствует. *Нормуль*, как говорили в их дачной компании.

Пруд, открывшийся с откоса, был именно таким, каким он увидел его в воображении. Затянутый чешуйчатой, блестящей ряской провал. Казалось, он существовал прежде железных дорог, и ему когда-то молились предки, кидали в ряску тела и туши...

Он спустился змейкой, оглянулся: откос скрыл его, теперь его могли увидеть только со второй железнодорожной ветки, но там стоял товарный состав: обляпанные мазутом, похожие на сардельки цистерны.

Тина в пруду казалась столь густой, что ему пришло в голову: а что, если щенки не потонут? Застрянут и будут барахтаться? Он нашел камень, бросил навесом. Камень булькнул, ряска разошлась, зачернело, заблестело *око* воды.

Желудков откинул крышку корзинки. Он думал, что щенки уставятся на него испуганно. Ждал этого испуга, чтобы в нем отразилась его власть над ними. А щенки уткнулись друг другу в бок мордочками и спали, убаюканные покачиванием корзины.

Взбешенный, уязвленный, он схватил одного, швырнул, не глядя, подальше в пруд. За ним второго, третьего, четвертого, пятого, слушая, как чавкает, расступаясь, ряска. Повернулся, ожидая увидеть лишь пять затягивающихся окошек в тине.

А щенки плыли. Барахтались, загребая лапами, и стремились к берегу. Каждый плыл наособицу, будто они понимали, что берег завален сухостоем, купами спиленных кустов, и, если они доплывут одновременно, Желудков застрянет в завалах, не успеет поймать всех.

Желудков заметался – влево, вправо. Упал, разодрав штанину, поранив колено. Под руками была остроугольная, тяжеловесная щебенка, и он схватил камешку, швырнул в самого расторопного щенка с белым пятном на носу.

Он вообще-то был плох в том, что требовало меткости. Сила была, сноровка и ловкость были, но не складывались в точность попадания. Футбол, стрельба в тире, рогатка: ему всегда казалось, что он прицелился верно, а выходило – в молоко.

Но тут, когда иной промазал бы от спешки, Желудков попал. Камень ударил щенка в лоб, точно в белое пятнышко, как в центр мишени. Щенок ушел под воду, будто притяжение дна, трясины наконец пересилило. А Желудков, выбирая камни потяжелее, принялся за других.

Конечно, с первого раза он больше не попадал. Но попадал вторым, третьим камнем. Щенки тонули один за другим, с той же неестественной легкостью, с которой исчезают, запрокидываясь, бегущие мишени в тире, все эти жестяные, поклеванные пульками лоси, олени, зайцы, кабаны.

Щенки уже сгинули, а он все швырял, ожесточаясь, чтобы добить под водой, чтобы точно не всплыли, будто выстреливал длинную пулеметную ленту. Позади, на насыпи, загудел, предупреждая о себе, втискивая сочлененное тяжелое тело в поворот, товарняк. Вагоны застучали, загрохотали на стыках, как тот же пулемет. Мощь, тяга нагруженного поезда передались Желудкову, и он молотил камнями по воде, будто хотел растормошить, разбудить спящую сном десятилетий трясину, чтобы она наверняка приняла его жертву.

Товарняк притормозил, гуднул еще раз, поворачивая с боковой ветки на главную магистраль. И в изменившихся тактах последних вагонов Желудков разобрал стальной, удалой смех: будто пляшут, веселятся кузнечные молоты, бьющие в наковальню. Молоты лупили по его голове, и он тоже засмеялся этим металлическим смехом, не мог остановиться, хохотал, подпрыгивал, глядя на дырявую ряску, изрешеченную камнями – как одежда пулями.

– Отнес в дальний лес, – сказал он отцу и матери, возвратившись и поставив на стол во дворе пустую корзину. – Тот, у шоссе.

– Ну, молоток! – ответил отец в привычной манере, но без обычного напора, как-то даже рассеянно. – Жалко, конечно. Но что поделаешь. Жизнь.

Желудков тщательно вымыл руки, глядя на них, такие невинные под струей воды, с аккуратно подстриженными ногтями, и притворно удивляясь: они ли только что бросали камни? Намазал зеленкой ссадину на коленке. Отец и мать ничего не спрашивали. Они, конечно, все поняли. И им было не по себе.

Корзина так весь день и простояла на столе.

Ночью он спал на втором этаже. Постель, хотя одеяло и прожарили на солнце, еще отдавала зимней стынью. Ныло, продергивало ушибленное колено. Желудков проснулся за полночь, выбрался через слуховое окно на крышу веранды. Обычно он покуривал там, пряча затупенные окурки под рубероид, а потом уносил их тайком. Но в ту ночь курить ему не хотелось.

Он мальчишески надеялся получить какой-то знак, подтверждающий содеянное, что-то вроде оценки в школьном дневнике. Он жалел теперь, что ничего не рассказал родителям, молчание лишило его чего-то важного, ради чего все это затевалось. Признания? Награды?

В саду внизу мелькнула тень. Сука пришла. Встала на задние лапы, обнюхивая корзину.

Желудков, притаившийся у края крыши, был благодарен ей, что она явилась, ставя точку. Псина, словно уловив его присутствие, попятилась, исчезла в кустах, ушла с участка – и оттуда, из-за забора, завывала, омерзительно, громко, с икотными подвываниями, так, что, казалось, слышно на всех участках.

Внизу, на веранде, вспыхнул свет. Зажглось окно у соседей. Желудков не знал, куда ему деться. Эта дрянь обманула его, она должна была уйти тихо, она не имела права, мразь! Он ее найдет завтра, найдет и приманит, прихватив из-за сарая тяжелый пруток арматуры.

Но наутро псины как не бывало. Желудков больше никогда не встречал ее в округе.

...Судья схватился покрепче за перила веранды. В груди болело, как от удара колуном; валидола нужно, холодок под язык.

“Просто псина, – сказал он, успокаивая себя. – Просто псина. Может, ее сбило на дороге машиной и она приползла сюда. Тут три участка от шоссе”.

Собака не выла больше. Но он чувал, что она тут, смотрит из кустов. И ему стало смешно от злости и унижения; он зарыдал-захохотал, и смех подбрасывал его вверх, как когда-то, во младенчестве, подкидывал над головой отец, так, что на миг темнело в глазах и замирало от



восторга сердце. Выше, выше, выше, к осеннему пустому небу, к ледяным звездам – пока не стало совсем темно.

## АНТОНОВ ОГОНЬ

Ее принес Батицкому Витька Полуян по кличке Полупьян. Витька давно не пил, хворый желудок, но прозвищу соответствовал: всегда будто под хмельком шулерского обаяния. Полупьян был жучок, шустрик, доставала, перебивающийся с третьего на десятое, но Батицкий его выделял и привечал. Полупьян не впаривал туфту, не шаромыжничал, и порой Батицкого посещало странное ощущение, что мелкий, задиристый, копеечный Витька – велик величию блаженных странников и юродивых.

В их темном, потаенном деле превыше всего ценилась удача. Они пытались приманить, заклясть ее. Добыть, как добывают огонь трением, ощупывая, оглаживая попавшие в чуткие руки старые вещи. Охотились за клеймами, гербами и именами, диковинами и раритетами, за исключениями, существующими в единственном числе, в которых – как считал Батицкий – исчерпывает себя, переходя в монструозность, в бесплодие, художественная традиция.

У Полупьяна же, недоучившегося художника, был легкий и точный дар находить вещи, являющие мгновенное, раннее совершенство стиля, еще не сознающее себя, предшествующее зрелости. Такие предметы не привлекают обычных коллекционеров, падких лишь на узнаваемые, расхожие формы. Но сам Батицкий, не Батицкий-антиквар, а Батицкий-художник и впоследствии историк дизайна, – любил именно такие предметы, лаконичные и спокойные, выражающие дух времени в его становлении.

И Полупьян, не-пьяный Полупьян, умеющий наново прошерстить уже, казалось бы, вытоптанные, выбитые места, завсегда тай стремных блошинок вроде той, что у станции “Рабочий поселок”, где раскладывают товар на газетах, постеленных на земле, и торгуют негодными водопроводными кранами, жестянками из-под монпансье, пожелтевшими пластмассовыми висюльками для люстр, связками заржавелых, отвыкших от скважины, одичавших ключей, латунными пузатенькими мыльницами с вытисненной на крышке девочкой с прыгалками, резиновыми разошедшимися ботиками, однозубыми консервными открывашками, остатками чьих-то ничтожных неблагополучий, – Полупьян дважды поднимал ему оттуда, с мусорного дна, истинные перлы.

Да. Та фарфоровая тарелка с росписью Эля Лисицкого и чеканный серебряный кувшинчик эпохи хорезмшахов, работа домонгольских времен. Полупьян приносил их изгвазданными, умученными, чуть ли не в крови и блевотине. Но вся эта дрянь и патина сходили легко, и вещи оказывались нетронуты: без скола или царапины. Наверное, именно поэтому Батицкий, заплатив Полупьяну верную цену, их придержал: будто признал их гордость и целомудрие.

Сам Батицкий имел, так сказать, иммунитет к коллекционированию. Потакая страстям и страстишкам других, он оставался хладен к чужим фетишам, втайне презирав животную перистальтику накопления и поглощения, имея дух продавца, наслаждающегося лишь движением предметов и денег, игрой цен. Но тарелка и кувшинчик и не составляли коллекции. Они были изможденные путники, попросившие приюта, и азартный Батицкий, загребуший Батицкий так никогда и не выставил их на витрину.

Это было внове. Они будто гостевали у него, оставаясь независимыми. И Батицкий изучал, прикасаясь мысленно, явственные грани их отчуждения. Не признавая себе самому, он дал им время, долгое время неорганических веществ, не знающих распада плоти, стареющих столетиями и столетиями же возрастающих в цене: чтобы они привыкли, забыли мытарства, отпустили череду прежних владельцев – и отдались ему истинной связью обладающего и обладаемого.

Кувшинчик и тарелка, готовый натюрморт. *Nature morte*. Он вообще-то привык к вещам, живущим дольше человека, а как иначе в его-то профессии? Но именно они заставили его остро ощутить возраст. Течение проходящей жизни. Тщету преуспевания. Благотельность

утрат. И он, упрямый, стал подсознательно искать к ним нечто третье, отсутствующее пока в натюрморте, предмет иной породы, способный дать жизни вдохновение, смысл и тайну.

А потом Полупьян явился снова. Он долго пропадал, заняв у Батицкого крупные деньги. И Батицкий уж думал, что Полупьян не вернется. Убит Полупьян, ибо он мог, рискованней дуралей, взять этот пресс наливки на ту же блошинку у “Рабочего”. Еще когда отсчитывал Батицкий евро, мелькнула мысль, что многовато просит Полупьян. И не то чтоб жалко, нет. Просто каждому человеку установлен предел, сумма, выше которой ему на руки получать нельзя, иначе амба, превышена отметка, и начинаются фокусы мироздания, а потом следователи голову ломают – как так оно все случилось? А Полупьян просил выше своего лимита, много выше, и на секундошку убийцей почувствовал себя Батицкий, но интерес был сильнее: а вдруг справится? Вдруг все-таки что-то приволочет?

И Полупьян возвратился. Только был он теперь и в самом деле пьян. Глаза – темным перламутром отливают, таким, что у жемчугов-перестарков бывает, прежде чем в прах рассыплются. И прочел в них Батицкий, что был Полупьян бит, был и обманут, порохом опалило, лезвием обмахнуло, – а все ж вернулся с добычей, откупорил чью-то захоронку, сундучишко, ларь, ушел живым из гнилых коридорцев, из черных домишек, и стоит теперь шальной, денег не вернет, но что-то в отплату предложит, что-то он вынес, выцыганил у судьбы, славный Полупьянушка, Полупьяничик, скорохват!

Полупьян не присел даже. Рукой во внутренний карман куртки юркнул ловко, как трюкач, Батицкий едва уследил, дернулся, так блатные за нож или пистолет хватаются; а Полупьян уже положил что-то на стол и руку убрал.

Визитница.

Визитница лежит на столе. Слоновая кость. Резьба. Два цвета всего: белый – кость, охряно-красный – узоры.

Белый – это снег, решил Батицкий. В правом нижнем углу растут красного цвета деревья, восточная порода, волнистый ствол, на ветвях зонтичные сrostки листьев. Под ним стоит человек в красном халате, японец или китаец, с косичкой, и смотрит в эту белизну, будто вышел на край людского мира, а там, дальше, сугубое царство стихий. Одиночеством безрадостным веет. Немного странная композиция для визитницы, для светского аксессуара.

Батицкий видел, что вещь старая, настоящая. Но не стоит она и половины того, что одолжено Полупьяну. И понимал, что примет и не возразит, не заикнется о торге, ибо се есть дар; троица.

Полупьян после того от дел отошел, подался чуть ли не в богомазы; досталось, верно, парню, думал Батицкий и радовался невзначай, что, вот, досталось, а не досталось бы, может, Полупьян и не принес бы визитницу, или, будучи с барышом, себе оставил бы; а бит был Полупьян, бит и уstraшен, и потому с долгом решил наверняка расплатиться.

Визитницу Батицкий отвез показать коллеге. Петр Петрович Головцов был высший арбитр, знаток предметов обихода: вееров и табакерок, флакончиков для нюхательных солей, щипчиков для сигар, портсигаров, карманных часов, спичечниц, столовых приборов, охотничьих пороховниц, чернильниц, фляжек, запонок. Неодушевленных слуг богатства и этикета. Слов ныне утраченного языка вещей, которым разговаривали дворянство и купечество.

Головцов славился специфическим складом ума, и речения его бывали туманны, как пророчества пифии. Сам древность, ископаемое, весь в крапинах, он тщательно осмотрел визитницу, протер замшичкой, постучал ногтем по боковине, взял лупу и долго рассматривал рисунок: худого старика в халате или кимоно (Батицкий только там понял, что это именно старик), изогнутые влево-вправо, маятником, красные деревья с острыми зонтичными листьями, снежную пелену. И сказал с ласковой грустью:

– Это визитница для визиток, Антоша.

Батицкий слушал.

– Для визиток, хм, – рассеянно проговорил Головцов. – Только не для своих. Для чужих, – закончил он с судейской определенностью.

Батицкий не понимал.

– Ее не носили с собой. – Головцов чуть подвинул визитницу, чтобы линии ее стали параллельны краям стола, и да, вдруг стало видно: она предназначена именно лежать.

– Визитница не для визитов. – Головцов указал пальцем за дверь, в коридор. – Визитница для визитеров.

– Это редкость? – не выдержал Батицкий.

– Можно сказать и так. – Головцов еще раз подвинул визитницу пальцем, подыскивая ей точное место около письменного прибора серого мрамора и бронзового подножья лампы. – Полученные визитки ведь редко хранили. Что они такое? Мимолетности, подёнки. Знак несостоявшегося. Замена персоны, нанесшей визит, но не заставшей хозяев. Тут своя метафизика, мон шер, особенная тонкость: визитка есть тень, символ присутствия, но кратковременный, был – и нет. Такие вещи не берегли, они должны были уходить, прежние люди хорошо это чувствовали, у них вообще был слух к скрытой повседневности, к грамматике бытия изумительный...

Головцов поднял глаза на Батицкого, и Батицкий смутился, словно Головцов упрекнул его в том, что он не усмотрел, не понял в визитнице некую существенную черточку...

– Однако можно представить, – лекторски сказал Головцов, – что некто, из тщеславия например, решил оставленные у него дома визитки собирать. Не все, конечно, иначе альбомы бы понадобились. Избранные. Ценнейшие. Карточная колода, где тузы, короли, сильные мира сего. Или дружеский круг, память о первых знакомствах, визитах, переросших в дружбу, в связи перекрестные. Тогда бы он заказал себе вот такую, побольше, пообстоятельней...

Батицкого неприятно поразило, что Головцов говорит так, будто знаком с его визитницей, и знакомство это давнее, нарушающее некоторым образом его, Батицкого, нераздельное право владения. И Головцов, будто подтверждая подозрения Батицкого, спросил:

– А ты ее, с позволения спросить, для себя приобрел или... – словно речь шла о женщине, о куртизанке.

– Клиент передал на оценку, – тут же ответил Батицкий. Если бы он ответил, что визитница принадлежит ему, Головцов начал бы его обхаживать. А так лишь кивнул, понимаю, мол, увы...

По дороге в магазин Батицкий думал о визитнице. Смешно, но ему показалось, будто она флиртовала с Головцовым, рассказала старику то, что не рассказывала ему. Ты что ж, ревнуешь? – спросил он себя. Привязался? Прилип?

На следующий день он выставил ее на особенное, верное местечко в витрине; что ни поставь – уходит. Он и опасался своей нарождающейся привязанности, ненужной для бизнеса: одну полюбишь, затем другую, чем торговать будешь? И хотел проверить ее преданность, поиграть с ценой и удачей: уйдет – значит, такой фарт.

Но визитница, даром что на выверенном, намоленном, так сказать, месте, – не продавалась. Ее как бы и не видели. А если видели – то не выбирали.

Батицкий как бы невзначай подвел к ней пару избранных клиентов, денежных, но со вкусом и разумением: Капариди, владельца типографии, и Малосолова, короля сусального золота, подрядчика Патриархии. Но оба обошли ее взглядом.

Такое бывает, если вещь роком отмечена. Ею убивали, или за нее убивали. Люди опытные, пусть и не профессионалы, чувствуют это и избегают инстинктивно.

Но визитница-то! Смирная, простая! Какой в ней рок?

А лежит так, будто кто-то ее забыл, будто есть у нее до сих пор хозяин, и он ее отыщет, выкупит.

Батицкий, опаматовавшись, убрал ее с витрины, положил к кувшину и тарелке, отметив с удивлением, что визитница как бы вынудила его поместить ее в привычное ей общество, светский круг, к вещам своего, так сказать, ранга.

Занимаясь торговыми делами, обихаживая клиентов, Батицкий подмечал, что думает о ней. О той среде, в которой она изначально обращалась. Дом, выезд, лакеи. Сонм исчезнувших уже из быта вещей и вещей. Особые люди, приставленные к ним ухаживать, заботиться. И вот – всего этого нет. Того мира нет. А она есть.

Мысль не бог вещь какая, но... Батицкий не верил в память вещей. Да что там не верил, знал наверняка, что ничего они не помнят. Если кто говорит, что помнят, – это байки, ерундистика. Вещи охотно меняют хозяев, даже если уведены насильственно, обманно: украдены, нечестно выменяны.

Но знал и другое. Есть вещи, которые не надо покупать. И продавать не надо. Лучше просто сделать вид, что не заметил их. И все.

Таких вещей очень немного. Они совсем не обязательно могут похвастаться особой ценностью. Они – как первые светлые умы, явившиеся среди темных неандертальцев и крома-ньонцев, восходящие натуры, рисовавшие оленей и охотников на стенах пещер. Те, кто имеет собственную судьбу. И в нее не стоит вмешиваться, ее оспаривать. Она не рок, не проклятие, это другое. Она – самость.

Кувшин и тарелка, кстати, к числу таких вещей не принадлежали. У них был несомненный дар уцелевать, сохраняться, но он вовсе не равен судьбе. А вот визитница... Батицкий никак не мог уловить ее суть. Вслушивался. Присматривался. И все сильнее хотел обладать ей, узнать ее прошлое, ее секреты.

И обладать не так, как коллекционеры, имея абсолютные права, но сохраняя вещи в статусе отчужденных фетишей, а глубинно, интимно, чтобы обладание не ощущалось как обладание, чтобы исчезла грань между телом и вещью, чувством и материей. Чтобы отчуждение сменилось взаимностью, чтобы визитница ему доверила свое минувшее. Втюрился, как пацан, коллегам расскажи, чего доброго, на смех поднимут! И, главное, почему? Зачем?

Батицкий ведь не любил то прошлое страны, откуда приходили к нему вещи. Дверь туда держал закрытой. Там разбой, мародерство, конфискации при обысках. Не за чем это в голове держать. Не за чем знать, что именно с бывшими хозяевами случилось. Какая и кем цена за вещь плачена.

Его-то семья с тем временем и без потерь, и без подлостей разочлась. Он был простец, селедкин сын – мать и вправду торговала бочковой селедкой в рыбном магазине на Бауманской, провоняла ядреным тузлуком, скопила липкие рублики, хотела и его за прилавок пристроить. Но школьный учитель рисования, правильный старик Мусин, уломал матушку не перечить, отдать в художественное, и как уломал: картину подарил. Наклеил на деревяшку газету “Труд”, залил лаком. А поверх селедку лакомую нарисовал, хлеба ноздреватую горбушку, водки стопку и лучка матовый завиток: так и хочется опрокинуть и закусить. Улестил, значит, материнское сердце.

Чурался Батицкий того прошлого – а к визитнице тянулся. Может, именно потому, что ничего она не хотела рассказывать и ничего от него не ждала, замкнулась, как раковина.

Однажды, выпив лишку, Батицкий решил, что визитницу можно приручить, если использовать ее по назначению. Сложить в нее, к примеру, собственные визитки. Или, по наставлению знатока Головцова, чужие. Наполнить ее новыми именами, населить новыми людьми.

Он решительно снял ее с полки, открыл... и осекся. Визитница, легкая, послушная, была в его руке: положи свою карточку, и все. Но Батицкий чувствовал, что она, как бы это сказать... занята. Или, вернее, не совсем пуста.

Батицкий поднес ее к свету, с пьяной придирчивостью заглянул внутрь. Нехорошо стало, мутно, словно близился обморок.

Охолонул. Закурил. Стал как бы наново смотреть на визитницу. И его профессиональный, четкий глазомер засбоил. Батицкий ясно видел малый предмет. И ясно чувствовал в нем великий объем, словно визитница могла вместить – и вмещала – некое помещение, залу, а, может быть, даже дом.

Или – она была домом.

Домом тех, кого нет. Склепом.

Батицкий коснулся ее рефлекторно – и отдернул руку. Ему показалось, что визитница окорябала, оцарапала палец. Гладкая, полированная, а оцарапала. Осмотрел: чисто, гладко. Вспомнил истории об отравленных шкатулках, табакерках, из которых выскакивает на пружине ядовитое стальное жало.

И испытал сильнейший, резкий, как удар, испуг пред визитницей. Воображаемый укус смерти запустил в жилы мнимый жар, стрекочущее пламя отравы. Батицкий понимал, что визитница шутит с ним покойничьи шутки. Но одновременно ему казалось, что он и вправду умирает, чернеет, выгорает изнутри, уколовшись о сокрытую иглу. И это выморочное умирание, призракный пламень, сухо, жестоко жгущий плоть, вдруг на мгновение отдали его тело кому-то другому, кто мучился так и так умирал, опаляемый мертвящим зноем испорченной крови.

Батицкий был теперь и он, и не он. С тем, неизвестным, у него было общее: визитница, будто комната, куда можно войти с двух сторон. И Батицкий теперь знал, соприкасаясь, кто был *тот*: дворянин, присяжный поверенный, стяжатель связей, основатель дружб и приятельств, творец знакомств, устроитель дел и судеб, связывающий всех со всеми, бонвиван, дирижер, посредник, душа общества, советчик, конфиденгент, любимчик...

И визитница, странная, как бы отчужденная, нарочито чудная, была его талисманом, его домом удачи. Он собрал *их* всех в нее, создал сообщество, содружество, круг. И Батицкий уловил, как улавливают дуновение воздуха от закрывшейся двери, – что эта же общность, свычка друг с другом их потом и погубили.

Следователи НКВД шли по тем же связям; родство, общие интересы, близость в компании... *Они* были как мишени в тире: приготовленные, выстроенные для стрельбы. А *он*, успевший сообразить, что происходит, спрятаться на самое дно, – до поры до времени уцелел.

*Се* есть последняя вещь, понял Батицкий. То, что у *него* осталось от себя самого. Батицкий увидел все *им* проданное, снесенное в торгсины: портсигары, запонки, часы, столовые приборы, офицерский бинокль, парадные шпоры, пенсне, золотую бритву – вещи, составляющие человека, и одновременно вещи эпохи, в которых эпоха умирает окончательно, изжив себя самоё.

Только визитница осталась. Никто не хотел брать. Не серебро, не золото. Отдать лишь за бесценок. Новым, красным, людям нужны часы и портсигары. Они постоянно сверяются со временем и много курят; а визитки – где те визиты? НКВД теперь наносит визиты.

...И чует Батицкий, что лежит он, охваченный смертным жаром, на смрадном тощем тюфяке. Это Сетунь, какая-то Сетунь, что такое Сетунь, окраина Москвы, что ли, Сетунь, Сетунь, кругом картофельные склады, и ночь прорастает картофельными белыми глазками, сочится гноем, как сладким крахмалом. Мокрый валенок в осеннюю распутицу натер ногу, по ноге ползет гангрена, жарит, не подняться, а второй сторож, Корней, обтирает мокрой тряпичей пылающий лоб, приговаривает:

– Антонов огонь вошел, антонов огонь в тебе, вошел, значит, пекёт, от-то пекёт, – и так странно слышать этот крестьянский разумный говор, эту глупость, потому что антонов огонь приходит от ржаного зерна, пораженного спорыньей, а его терзает гангрена, и кажется, что ошибка Корнея ведет смерть по ложному следу.

Но смерть недалеко, ее не обманет неграмотность Корнея, она-то точно знает, что она такое и в каком виде пришла. Корней честен, он не возьмет ни валенки, ни полушубок, но визитницу возьмет, спрятанную под тюфяком. Он давно на нее смотрит. Давно хочет. А зачем, не знает сам. Просто хочет, и все, как бы в награду за невольные долгие труды санитаря, за тряпицу эту мокрую на раскаленном, пышущем лбу...

И знает Батицкий, что спалит Корней карточки, опасные имена на них и фамилии, бросит в печку, и хочется ему смеяться от Корнеевой глупости: карточки что, картон, буквы, пусть горят, а визитница укроет, сбережет их всех, кому нет больше другого места на земле.

## Обелиск

Покровское кладбище было когда-то на окраине, а теперь Город размахнулся, и оно оказалось в середине. С севера, со стороны центра, к нему примыкали улицы бывших купеческих особняков, с юго-востока – деревянные барачные дома тридцатых, с юго-запада – панельные многоэтажки семидесятых и восьмидесятых. Три облика, три возраста Города, что не поспевал за собственным ростом, за спешным строительством военных заводов, оборонных исследовательских институтов, и потому жители его всегда теснились: как в жизни, так и в смерти.

Кладбище считалось престижным: просто так не попасть. Но на нем были еще и особые привилегированные участки. Скажем, прозванный в народе Генеральским семнадцатый, где хоронили только от генерал-майора и выше, а уж полковники и подполковники ложились в землю как кому повезет. Или двадцать третий Конструкторский, где покоились ракетчики, разработчики систем залпового огня, зенитчики, баллистики, создатели подводных лодок и радаров, – о, Город взрастил, вывел к славе и орденам много засекреченных умов! К двадцать третьему примыкал почему-то четвертый, называемый Университетским, или Профессорским: последнее пристанище знаменитых преподавателей, что учили тех самых конструкторов.

Военные. Ученые. Профессура. Три главные касты Города, что обитали при жизни в номенклатурных домах, делали покупки в закрытых магазинах – и по смерти тоже держались вместе.

Армейцы уважали широкие, полированные могильные плиты, выбитые в камне портреты по пояс: чтобы было как следует видно мундир, ряды орденов и медалей, чтобы взгляд был мудрый, уверенный, как положено полководцу.

Научники же предпочитали скульптуру. Каменный постамент, а на нем бронзовая голова, и непременно с открытым большим лбом, чтобы показать масштаб интеллекта. Бронзовые эти головы соревновались друг с другом, какая значительней, чей лоб выпуклее, продолжая и в посмертии соперничество научных институтов и школ; злые языки поговаривали, что многие бошки можно было бы поменять местами и никто бы не заметил: и скульпторы привыкли ваять по шаблону, и сами здешние ньютоны были людьми сходной породы – разум их мог постигать вещи немыслимой сложности, но это не усложняло их лиц, остающихся простецкими, не выражающими отдельности обладателя.

Работный, заводской, низовой народ хоронили, конечно, не в центре, а за новой городской чертой, в овражистой, бросовой земле, вдоль высокого берега, откуда виднеется лесная даль Заречья, даль лагерных лесоповалов, виляющих узкоколеек, заброшенных староверческих скитов и коричневых, как чай, быстрых лесных рек, текущих меж болотных торфяников и светлых песчаных откосов.

Но все остальные, промежуточные, и достигшие кой-чего в табели о рангах, и чинами, должностями не обремененные, – все стремились на Покровское.

Конечно, тут амбиции, тщеславие. Но еще – то суеверное чувство пожившего, знающего свой *град* горожанина, которое берется от почвы и само подсказывает: где в городе лежать спокойней, надежней, вроде как под охраной духа места.

Потому на Покровском иногда случались удивительные сближения и рокировки. Те, кто на этом свете никак не мог оказаться соседями, здесь укладывались рядом или даже менялись ролями; на кладбище был свой блат, свои ходы, вроде так же устроенные, как в остальной жизни, в учреждениях, магазинах, конторах, но все ж немного по-другому. Тут все иначе весило: положение, связи, деньги, будто на особый, загробный счет пересчитывалось.

Собственно, дедушка и бабушка Косоротовы так и получили участок. Дедушка, зубной врач, специалист по сложным каналам, вылечил кладбищенского гравера Мушина, мастера



надписей, постоянно мучавшегося зубами: от пыли каменной, наверное. А гравер в благодарность поспособствовал, чтобы Косоротовым по случаю смерти дедова брата выделили клочок земли, угловой, меж двух тропок.

– Будем лежать как на плакатной полке, – шпыняла бабушка деда. – У всех на виду! А ты еще и денег заплатил! И земли тут нет совсем, песок да щебень. В такое и лечь стыдно!

Но дед бабушкины нападки перетерпел и сделал так, как Мушин, имевший участок рядом, подучил его. Месяц за месяцем незаметно привозил в хозяйственной сумке на колесах землю, накопанную во дворе дома. И подсыпал на дорожку, отнимая у нее сантиметр за сантиметром, травкой засаживал. А когда через два года их кусок земли расширился, стал двуспальным, как пошучивал дед, соорудили ограду. Словно она всегда тут стояла.

Косоротов, мальчишка, почувствовал тогда, что получил важный урок. Дед не спешил, не жадничал, не пытался заграбастать пятнадцать сантиметров в один присест: кладбищенские сторожа или соседи донесли бы в администрацию. А теперь все видят, что участок явно залез на дорожку, но это происходило так медленно, что никто уже не станет скандалить, наоборот, посмотрят с одобрением и завистью: молодцы, устроились, не постеснялись. Так и нужно.

Родителям дедова операция была не по нутру. Они всё боялись, что явятся из администрации с рулеткой, замерят, заставят ломать ограду: позору не оберешься. И страдальчески, не веря, слушали объяснения старика Мушина.

– Вы поймите, Александра Петровна, – говорил Мушин матери. – Это ж не преступление, не воровство! Прирезали, так сказать, немного землицы. Так разве ж это земляца была, тьфу, шлак кладбищенский! Никто вам ничего не скажет. Вы ж без нахрапа, с пониманием. Тут и взятки не нужно.

Мать внутренне вздрагивала от слов “преступление” и “взятка”, лишь дополнительно убеждаясь, что Мушин вовлек ее доверчивого отца во что-то грязное.

А Косоротов изучал Мушина и деда, видя, что есть между ними общее, чего нет ни в бабушке, ни в родителях. Оба ловкие, точные, один зубной врач, другой гравер. Оба сверлят, с твердым делом имеют. Утихомиривают, снимают боль – один пломбами, другой надгробиями. И ловкость, точность их не просто профессиональный навык. Они жизнь чувствуют, где в ней слабина, где годный материал, а где худой, видят, что можно от нее взять. Потому Мушин и дал деду совет – тому, кто сам умен, кто сможет верно воспользоваться.

Сам же Косоротов рос силачом. Совсем не в отца и не в деда. У матери вроде в предках был то ли ломовик, то ли грузчик на мучной пристани, городская знаменитость, что побеждал всех ярмарочных борцов, городских и заезжих.

– Эк расперло-то, – приговаривала неодобрительно бабушка, – такого прокорми!

Он учился в школе олимпийского резерва, вольная борьба, – родители отдали. Выступал уже на первенстве области. И знал, что можно многое взять от жизни голой силой. Его побаивались старшие ребята во дворе, с ним стал вежлив несдержанный прежде отец, да что там, любой взрослый смирнел, уступал дорогу.

Косоротов чувствовал, что это лишь начало, силы еще прибудет, даже без тренировок, без пота и железа. Она избрала его тело домом. И позволяет нехотя использовать себя на ковре. Но явилась она вовсе не для борьбы. А будто наоборот: отдохнуть, отстояться после того, как она кому-то принадлежала, кто тратил ее направо и налево, взнуздывал, сплавил со своей личностью, заставил питать волю. Она выбрала именно его, Косоротова, потому что он был, в сущности, добродушен и не ретив, не любил споров и соревнований. Сила дарила его умом, достаточным, чтобы он никогда не злоупотреблял ей; умом скорее предохраняющим, чем пытливым.

Косоротов подслушал однажды, как два школьных тренера обсуждали его. Один, помоложе, Маевский, сказал, что Косоротов ленится и нужно его приструнить, приучить к технике

и дисциплине, а то, мол, закопает талант в землю. А второй, Рыкунов, пожилой уже, взявший когда-то союзное серебро, ответил задумчиво:

– Да не будет он борцом.

– Характер нужно воспитывать, – настаивал Маевский.

– Да не в характере дело, – сказал Рыкунов. – Не его это сила. В нем, а не его. Видел я такое однажды. Был у нас в армии самородок, танк мог перевернуть. Бороться, барахтаться – пожалуйста, хоть взвод изваляет. Но уже на окружном уровне его положили на лопатки. Почему? Потому что соперник опытный был, вызверился, не по-спортивному взялся, а на жизнь и смерть. Тут у самородка будто предохранитель перегорел. Сама его сила себя же и погасила.

– Ну, это ерунда какая-то, любишь ты психологию развести на ровном месте, – усмехнулся Маевский. – Впрочем, ты его тренируешь. Тебе виднее.

Но остальные взрослые этой подоплеки не знали. Видели фигуру, мускулы. Глядели уважительно, даже подобострастно порой.

Все, кроме деда и Мушина.

Дед всегда звал его с собой на кладбище прибраться, вымести сор и листву. А прибирался он регулярно, с нетерпимостью врача к нечистоте. Потом они шли в мастерскую к Мушину у кладбищенской стены, и дед говорил:

– Погуляй немного, Костик. Мы с Петром Васильевичем поговорим.

И Косоротов отправлялся бродить среди прямоугольных глыб, сваленных у мастерской. Слоистого мрамора, сизо-серого, как просоленное сало. Черного лабрадорита, мерцающего на сломе сине-зелеными “глазками”. Мясного, налитого багровым шокшинского песчаника. Мушин его и научил определять породы.

Он мог бы сдвинуть любую из глыб. Но все равно дед и Мушин смотрели на него иронично, как на задиристого щенка.

Он делал вид, что просто прогуливается, как велено. А сам наблюдал издали за стариками.

Мушин был старше деда, лет под восемьдесят. Лицо прятал в густой седой бороде, придававшей ему потешный вид Деда Мороза. Но тело у него было еще крепкое, сухопарое, хоть руки и в артритных наростах, в соляных выпуклостях. А глаза... Глаза резчика, привыкшие измерять и размечать, выводить закаленной сталью резца линию в неподатливом камне.

Мушин был знаменит. Все хотели, чтоб именно он делал монумент, но он брал заказы с разбором, не гонясь уже за деньгой; сам выбирал породу, форму и, если заказчик не соглашался, отказывался от работы, передавал помощникам. Славилась его памятники еще и тем, что стоят идеально, не клонятся с годами, хотя почва-то по склонам кладбищенского холма песчаная, ненадежная. Словно и сквозь камень умеет чувствовать Мушин, и сквозь землю.

И Косоротову казалось, что Мушин видит: сила Косоротова – ему чужая. Видит и знает, как так может случиться. И дед знает.

А еще у Мушина была внучка, Полина. Лет на семь младше Косоротова. Совсем девчонка. Мушин – родители у нее в разводе, что ли – иногда брал ее с собой в мастерскую. Старик просил тогда Косоротова поиграть с ней в прятки среди глыб. И Косоротов, сам не зная почему, хитрил, подсматривал краем глаза, как она, светловолосая малявка в платице из взрослой, украшенной розовыми и фиолетовыми маргаритками материи – наверное, мать купила себе на платье ткани с запасом, – ловко скачет промеж камней. А камни бугрятся естественными сколами, дикой силищей – отколотые от коренной породы взрывами, оглушенные, угрюмые, хранящие суровую, грубую стать недр. И Косоротову хотелось защитить ее от зловещих булыганов, разбуженных людьми, от их шершавых боков, готовых сдавить и раздробить.

Дед умер первым. И Мушин поставил ему памятник, оговоренный, как оказалось, давным-давно. Строгая плита белого мрамора, черными буквами имя, фамилия, годы жизни, а ниже простая подпись: врач. Иные-то заказывали скошенные грани, золоченые буквы, гордели черт-те что. А для деда Мушин расстарался и шрифт подобрал редкий, но не выпендренный.

Там, у памятника, Косоротов простил Мушину их с дедом союз, в котором ему не было места. Обнял старика, ибо видел: лучше б никто не сделал. С достоинством получилось. По-мужски.

Польщенный Мушин сказал тихо, чтобы другие не слышали:

– Спасибо, Костя, дорогой. – И, отстранившись, глядя уже в глаза, добавил: – Рядом с дедом твоим лежать будем. Ты уж, если что, присмотри за нами.

Косоротов ответил беспечно и благодарно:

– Присмотрю. Слово даю.

И старик вдруг церемонно поцеловал его в лоб сухими, твердыми губами. А Косоротову показалось, что это он прижался горячим лбом к выступу холодной скалы.

Бабушку хоронили без Косоротова – он в то время служил на Севере.

Он вообще не должен был попасть в обычные войска. Его ждала спортивная рота в Москве, Центральный спортивный клуб армии, соревнования, призы, медали, полувольный режим, столичные девчонки, а потом – льготный прием в институт физкультуры, на тренерский факультет. Все уже было обговорено, и с городского сборного пункта его наутро должен был забрать покупатель, столичный подполковник Кубиков.

Косоротов явился на сборный пункт накануне, устроился в углу, закемарил. Там его и просквозило.

Когда Кубиков приехал, он валялся в медсанчасти с сильнейшей зубной болью. Не помогли ни таблетка, ни укол.

Так, бывало, с дедом случалось. Зубной кудесник, он был и зубной страдалец. В юности работал вольнонаемным врачом на Севере и застудил зубные нервы. Если у него болело – тело ходило ходуном, пот катил градом, а лицо совершенно переставало ему подчиняться, превращалось в галерею жутких и чуждых масок, слепков страдания. И сам дед становился вдруг чужим, мычал, матерился – такого мата Косоротов и в армии-то потом не слышал, – и только бабушка ходила в ту комнату, где он лежал, носила пахучее травяное полоскание.

Кубиков его, естественно, не взял. Кому нужен ненадежный борец? А боль к вечеру утихла. И его, одуревшего, измученного, прихватил флотский офицер, флот-то три года, не два, калачом не заманишь, и увез с другими бедолагами в учебку на Север, в глухие безлесные сопки, на базу арктических сторожевиков.

Они ходили в долгие рейсы, до самой кромки нетающих льдов, до синих ледяных пиков Новой Земли; вдоль гранитных берегов Баренцева и Белого морей. Когда в часть пришла телеграмма из дома, сторожевик был в дальнем походе.

По возвращении Косоротов получил десять суток отпуска, приехал – и увидел только бабушкино имя на белом камне, выписанное все тем же строгим шрифтом.

На соседнем, мушинском, участке было не прибрано. Он подмел нападавшие зимой ветки, полил ландыши и зашел на обратном пути в камнерезную мастерскую. Второй мастер сказал ему, что Мушин уж несколько месяцев как в больнице.

В плацкарте по пути обратно в часть, слушая разговор пожилых попутчиц о том, сколько лет можно хранить закатанные в маринаде дачные помидоры, он почувал вдруг, что уже не увидит Мушина, когда вернется через год со службы. И он задумался, не рассуждая, зачем,

в сущности, задумывается: а какой у Мушина будет памятник? Старик ведь наверняка все продумал, оставил эскиз, чертеж, а может, и сам камень выбрал, подготовил, обтесал.

В однообразные дни службы, в повторяющиеся часы вахт мысль о памятнике помогала бодрствовать. Косоротов примерял к личности Мушина разные формы обелисков и породы камня. Тут была интрига головоломки, странная притягательность задачи с подвохом. Мушин не раз говорил: наше ремесло особое, иное надгробие больше о человеке расскажет, чем в книгах написано и друзья знают. И Косоротов размышлял: а сам-то Мушин как поступит? Откроет о себе что-то после смерти через памятник? Или, наоборот, скроет?

В одну штормовую ночь черные валы били корабль в правую скулу, а он стоял рулевым, удерживая курс. Задыхалась изношенная машина в трюме, ослабли лопасти винта, набор корпуса. И люди, и металл уже сдались. Только его сила удерживала корабль в целости, все его заклепки и швы, болты, гайки, клапана. Это он, Косоротов, принимал на себя удары моря, бортовую качку, и море ярилось, словно зная, что сторожевик уже должен пойти на дно, и не понимая, почему кораблик держится на плаву. А Косоротов не вовлекался в схватку с морем. Замер неколебимо, как глыба. Окаменел чувствами. Корабль кренился влево-вправо, елозили вещи, падали матросы. А Косоротов стоял, и стихия ничего не могла поделывать и отступилась в конце концов, отпустила сторожевик, спрятавшийся наконец от ветра за гористый остров.

Тогда, в затишье бухты, Косоротов и понял вдруг, какой памятник задумал себе Мушин, мастер камня. Форма, сорт камня – это все второстепенно, не в них ответ.

Тот памятник, что простоит вечность.

Когда он приехал на кладбище, памятник уже стоял.

Черный, как полярная ночь. Четырехгранный. Вырастающий из земли, как штык. Заканчивающийся затупленной четырехгранной пирамидкой наверху.

Памятник был высок и стоял строго вертикально. Два метра, не меньше, прикинул на глазок Косоротов. Столько не позволялось и генерал-лейтенантам. Одиноким, как штырь солнечных часов. Мощный, как твердюзубый, закаленный кернер каменотеса. Он отвергал, презирал другие памятники, другие могилы, будто он один-единственный был настоящим среди фальшивок, среди посредственных, проходных смертей.

Мушин принизил остальных мертвецов, включая деда. Тут было не спокойное совершенство мастерства, а высокомерный, даже глумливый вызов живым и мертвым.

И Косоротов почуял, что его тревожит это новое соседство. Если бы он мог, он бы забрал отсюда деда и бабушку, перезахоронил где-нибудь подальше, откуда не виден этот черный штык. Он впервые подумал: а что, в сущности, дед знал о Мушине? Где они познакомились? Ведь это случилось задолго до того, как гравер помог ему получить участок. Но когда? Как?

Он пошел прогуляться, навестить могилы дальних родственников. А когда вернулся, издали, с пригорка, заметил две женские фигуры у мушинского обелиска. Полина и ее мать заперли оградку, постояли, глядя на памятник, и пошли прочь по тропке. Обе были в праздничных цветных платьях, они, наверное, завернули на кладбище лишь на несколько минут, по дороге куда-то. Но Косоротову показалось, что в их движениях нет скорби, нет траура; они будто даже радуются свободе, которую означает для них обелиск Мушина.

Он вернулся обратно к могилам. И своим калиброванным чувством равновесия, чувством борца и моряка, ощутил: что-то изменилось. Вроде бы мушинский памятник, полчасика назад стоявший ровно, утратил идеальную вертикаль.

Пусть самую малость, но накренился.

Он обежал взглядом округу, сравнивая, сверяя линии.

Нет. Почудилось.

В спорт Косоротов не вернулся. Поздно уже, годы упущены.

Прежние товарищи по секции носили кожаные куртки, собирались в ресторане “Речник” на дальнем дебаркадере. Присылали гонцов, звали в бригаду. Он бы, может, и согласился бы. Дрался бы на пустырях и в подворотнях с боксерами и каратистами за право брать мзду с ларечников. Но он-то знал, что сила не позволит. А если он пойдет поперек ее воли, то случится нелепость, какие бывают иногда на ковре, когда ярый спортсмен, проводя прием, калечит сам себя или получает вывих, растяжение, мелочь, в сущности, но эта мелочь запирает его мощь в обездвиженном теле.

Прежний тренер, Рыкунов, опасаясь, что Косоротова приберут к рукам бандиты, предложил ему поработать в цирке, выйти на замену заболевшему атлету.

Косоротов рассмеялся, да и деньги-то были невеликие. Но потом решил попробовать на один вечер. Цирк был старый. Несвежие опилки и песок пахли конской мочой. Но на арене его сила воспряла благодарно и благодатно. Он бросал и ловил гири, поднимал платформу с ассистентами, и заезженные, приевшиеся эти трюки вдруг тоже ожили, пробудили скучающие ряды, просветлили воздух под куполом простейшей магией победы плоти над неодушевленной тяжестью.

Косоротову было легко и радостно. Он видел теперь скрытое благородство старинных цирковых номеров. Он ни с кем не сражался, ни на кого не нападал. Но все же побеждал нечто темное, что люди принесли в цирк с улиц, где вершили власть кулака его бывшие товарищи по борцовской секции.

Так он остался в цирке. Энергия его выступлений передалась другим: резвее побежали пони, ловчее закручивали фигуры воздушные гимнасты, жонглер перестал ронять булавы, факир исправно испускал огонь, и даже клоуны Дудя и Дум, жалкие астенические пропойцы, стали временами смешны и остроумны. Их начали приглашать на гастроли, иной раз и в Европу. Там, в Германии, и случилась беда.

Местный антрепренер, хитрец и жучило, пообещал директору жирный контракт, на полгода, не меньше, двадцать городов, но при одном условии: что вечер будет заканчиваться схваткой. Косоротов против местного борца.

Антрепренер, хоть сам и метр с кепкой, понимал в борьбе, распознал силу Косоротова и надеялся, что открыл звезду, которая будет собирать залы, даже кличку ему придумал соответствующую: Красный Дикарь. Косоротов думал отказаться; но весь цирк, и люди, и звери, ждали, что он скажет “да”, – тогда можно будет заработать на годы вперед, а то ведь семьи, долги, здоровье, у цирковых свои болячки...

И Косоротов пошел – ради хорошего дела. Положил на лопатки местного через две минуты. Вот только чужак ему щиколотку успел раздробить. И вышел Косоротов из немецкой больницы безденежным хромцом, изувеченный сустав заставлял его косолапить: куда там на арену!

Он был на товарной базе грузчиком, таскал мешки с сахаром и мукой. Поработал забойщиком на городской бойне. А прижился на Покровском кладбище, в могильщиках.

В ту зиму стояли лютые морозы, землю выстудило, могилы не копали, а выдалбливали ломами, заколачивали их “марьей ивановной”, тяжелой кувалдой на длинной ручке. И Косоротов работал за четверых, а покойников было очень много в ту зиму, словно пришло время целому возрасту, целому поколению уходить.

У центрального входа на кладбище уже давно возникла аллея памятников его бывшим друзьям. Ряды плит, где стояли они в рост, изображенные со своими машинами, в пиджаках и цепочках на шее. Выжившие, обрюзгшие да пострелянные, собирались в дни поминок, пили водку, не узнавая его в рабочей телогрейке.

Косоротов знал теперь кладбище, как агроном знает свое поле: где какая почва, какой у нее характер. Ведал кладбищенские темные секреты – как крадут участки, как подхоранивают

без официальных бумаг или прячут в старых могилах трупы убитых, как воруют бронзовые головы академиков и конструкторов, чтобы сдать в скупку металла. Но чем больше узнавал, тем сильнее чувствовал, что есть и другие тайны, тайны самого кладбища, которые не для людей.

И мушинский монумент был тому лучшим свидетельством.

По весне, когда просыпается от зимней скованности земля, когда гуляют в ней воды, многие памятники пошаливали, наклонялись, особенно если стояли на плохонькой, подсыпной почве, или над водяной жилой, или снизу оплетали их, толкали корнями старые деревья. Но корни можно было обрубить, дерево спилить, почву – укрепить, памятник – посадить на фундамент понадежней, на бетонную широкую плашку.

Мушинский же был поставлен на крепком кореннике. А все ж не стоял он, а танцевал. Кренился во все стороны. Словно надсмехался над усопшим Мушиным, над мастерством его, пропавшим втуне.

Кладбищенские рабочие переделывали опалубку, поднимали монумент домкратом, подкладывали рельсы. Приезжали строители со стороны, обмеривали, простукивали, щупали бурами землю, сулили особые марки цемента, выравнивали, обещали, что простоит сто лет, – а стоял он до следующей весны.

Разные доктора терзали в те годы косоротовский увечный сустав, просвечивали, облучали, клали припарки, мази, резали – а он не исцелялся. Так они соединились для него, сустав и памятник, которые невозможно вправить.

Удивительно, но катавасия с памятником никаких суеверий у рабочих кладбищенских не породила. Штатается и штатается, так нам же и лучше, дармовой заработок. Да и кто такой тот Мушин, чтоб пришла ему от мертвых напасть? Гравер, трудяга. Зла никому не делал. А тут, на кладбище, если знать, такие люди лежат – расстрельщики, мясники. И ничего, стоят их обелиски, не штатаются. Значит, это просто случайная шутка природы, уродство безобидное. Бывает.

Косоротов и сам не мог вообразить, отчего Мушину выпала такая доля. Но видел, как памятник муторно ворочается, тянет силы, тянет деньги, нарывает, как не долеченный зуб в десне. Полине давно советовали просто его снести и поставить новый, полегче, или крест металлический.

А Полина – упорствовала. Хотя два мужа ее, похожих друг на друга крепыша-бычка, новоявленных богатея, ушли от нее, умаялись с неспящим памятником бодаться. Священник прыскал святой водой, Нюшка, юрода, приبلуда кладбищенская, когтила себе лицо, кропила черный камень кровью, ан не помогло. И Полина звала другого батюшку, другую юроду, других рабочих. А к нему, Косоротову, соседу, к могильщику, не обращалась.

Ее упорство было под стать той земляной силе, что колебала монумент. Люди видели тяготу, заботу, привычное безобразие. И никто не признавал, что Полина уже давным-давно должна была сломаться, забросить этот чертов памятник. А она не ломалась. Ни терпением это не объяснить было, ни любовью родственной. Ничем.

Однажды у Косоротова заболел зуб. Не так, как на призывном пункте, конечно, – просто треснула семерка. Он обычно ходил к дедову ученику, старичку уже, что принимал в подвальчике, в кабинете за дешевой парикмахерской, где прихорашивали черные густые бороды восточного рыночного люда. Старичок работал деликатнейше, как ювелир, и Косоротов только ему доверял свои чувствительные зубы. Но вот он пришел, а парикмахерша сказала, что врач умер.

Он отправился в поликлинику неподалеку. Рабочие кололи отбойными молотками асфальт, и его охватил страх из детства. Он понял, как на самом деле боялся деда, блестящих,

звонких инструментов его, и, открывая пред дедом натужно рот, будто вверял ему всю свою жизнь, обнажал уязвимое нутро.

В поликлинике его послали с острой болью к дежурному врачу. Это была Полина.

Даже потом, когда они жили любовниками, не было момента интимней и страшнее, чем тот прием. Она была плохой врач, кровавый, как говорят хирурги. Заморозка взялась неважно, и она измучила Косоротова, высверливая зуб, касаясь его напряженного тела своей маленькой грудью, и он метался между болью и желанием, а потом Полина сняла маску и поцеловала его в неживые от наркоза, бесчувственные губы.

Обелиск его слушался. Почти. Косоротов обуздывал его, вправлял, утрамбовывал землю, и черный камень стоял ровно – четыре, пять месяцев, полгода. А потом накренился. Не так сильно, как прежде, но все ж заметно, и Косоротов опять вправлял его. Они были теперь связаны, он и камень, его сила утихомиривала монумент, а сила диабаза – иссушала самого силача.

Он уже не спрашивал у Полины, зачем так нужно. Стал как тягловый вол, работающий и усмирный, покорный ярму.

Наступил день, когда он уже не смог поставить черный камень на место. Граненый булыган стоял, отклонившись, и отбрасывал длинную густую тень, а у Косоротова было так темно от бесполезной натуги в глазах.

– Я не могу больше, – сказал он дома Полине.

– А ты смоги! – ответила Полина.

Он вышел в прихожую и стал одеваться. Полина наблюдала за ним бестревожно: не верила, что он может уйти, отпускала проветриться и передумать.

Косоротов спустился во двор и решил пойти к себе домой. Была светлая лунная ночь, тихая, будто в детстве, когда из редких ночных машин еще не доносилась музыка. Он зашагал, хромя, и вдруг понял, что действительно не может больше; сильный, он бессилён. Проклятый камень выпьет его досуха. И есть только один способ спастись.

На кладбище он открыл ключом мастерскую и, не зажигая свет, нашел в полумраке отполированную рукавицами рукоятку кувалды “марьи ивановны”.

Он шел привычными дорожками, подхватив кувалду под самый боек. На кладбище никого не было в этот час. Даже кладбищенские сварливые псы мирно спали за оградой, в лопухах.

И все же он впервые чувствовал, что тут кто-то есть.

Мертвецы – те, кого он сам хоронил, кому копал могилы. Покойники минувших десятилетий, чьи имена выбиты на могильных плитах. И покойники давешних лет, забытые, неучтенные, выброшенные из круга памяти; те, в чьи могилы уже схоронили других людей, кто выдавлен, исключен, обокраден.

Черный обелиск, который он еще вчера не мог поправить, стоял идеально ровно.

Но Косоротов, соединяясь теперь с той силой, что ворочала и шатала памятник, ударил наотмашь “марьей ивановной” по черной громаде. И камень заныл, застонал, звук полетел по кладбищу, вспугивая птиц, отзываясь в надгробиях и оградах, стряхивая, как ржавчину, как коросту, молчание металла и молчание камня.

Он колотил, оставляя на черной полированной глади сахарные отпечатки ударов. Любой камень уже лопнул бы, разлетелся осколками, но обелиск стоял, и Косоротов призвал всю свою не-свою силу, и она явилась, в первый раз – вся.

Черный камень принимал удары, не поддаваясь. Но трескалась земля вокруг, шатались, роняя сучья, деревья, валились другие памятники, корчащаяся почва гнула гармошками ограды. Проседали зимние могилы, и кости выходили из песка.

И, чтобы остановить его, кладбище в страхе заговорило сотнями голосов. Говорили камни и трещины в них, стены склепов и древесные корни, песок, вода и цветы; природа, хранящая мертвых, и мертвые, ставшие частью природы.

Сквозь черную породу обелиска, ставшую прозрачно-дымчатой, он видел юного Мушина, едва вышедшего из поры ученичества, видел, что делал он год за годом: воровал памятники. О, сколько их осталось тогда без присмотра, после сгинувших семей, после бежавших, расстрелянных, погибших, – и Мушин счищал граверным инструментом имена, наново полировал камень и выбивал новые; ворую у мертвых, забирая единственное и последнее.

Сквозь черную породу обелиска, ставшую прозрачно-дымчатой, он видел молодого деда, зубного врача, пользующего лагерных начальников в дальних северных поселках, у них ведь тоже болят зубы, и скупающего у охраны зубное золото мертвых в обмен на спирт.

Обелиск снова стал черным. Косоротов чувствовал, что, еще один удар, – и мушинский монумент рассыплется, обратится дресвой.

И он поднял “марью ивановну”, занес – и всадил кувалду что было мочи в землю меж могил.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.